

Лит. газ. 1979, 10 окт., № 41

Есть у любимого мной писателя Виктора Петровича Астафьева повесть, удивительная по совершенству формы и по чистоте света, идущего от нее. Это «Пастух и пастушка». При всей разности оценок, критика отдает должное емкости повествования о народном подвиге. Читая ее, чувствуешь, что Виктор Астафьев горячо любит не только тех, о ком он пишет, но и тех, для кого пишет, к кому обращается с глубокой верой в способность каждого стать лучше, больше, человечнее себя нынешнего.

В одном из интервью писатель вскользь упомянул, что носил в себе эту повесть целых 14 лет. Хотелось бы

узнать, почему понадобились годы и годы, прежде чем этот замысел оказался исполненным! И еще. Почему он, глубоко реалистический художник, создавший «Царь-рыбу», «Последний поклон», написал «Пастуха и пастушку» в классических традициях романтического жанра! В творчестве Виктора Астафьева это мне кажется явлением исключительным.

М. ПРИЛЕПИН,
доктор технических наук
МОСКВА



Получив это письмо, корреспондент «ЛГ» В. Помазнев обратился к Виктору Астафьеву с просьбой ответить на вопросы читателей.

— Замысел всегда возникает по-разному, — сказал писатель, — по-разному происходит и его воплощение. И, видимо, тут невозможно найти какое-то арифметическое решение. Но все же при всей случайности возникновения замысла («Пастуха и пастушки» вижу в этом в то же время какую-то определенную закономерность, но «закономерность» эта опирается на мое индивидуальное мировосприятие, и если герой повести Борис Костяев задает «исключительнейший» для того времени вопрос: «зачем жить?» и сам себе отвечает: чтобы «убивать или быть убитым», то, стало быть, подобный вопрос возникал у меня, может, и не в такой категоричной форме, однако у меня хватало сил преодолеть страшную бездонность этого «вечного» вопроса. Но почему бы не предположить, что среди массы людей случился этаким «несвоевременный» герой, кого измучила тяжесть современного бытия, у кого кость и кожа оказались такими же тонкими, как у героев произведений прошлых времен, и ему не по силам

оказалась вся чудовищность происходящего? (Не будем говорить «слабее», слабость у подобных людей часто бывает всею иной «сильности» — мне лично «слабый» Рудин куда как дороже многих «сильных» современных героев литературы и, думаю, что на слабостях рудинских набиралась и набираются силы и ума многие современные настоящие супергерои.)

Вот я и попытался в меру своих сил (я отчетливо сознаю, что их не хватало) разобраться в сложности вечного вопроса, в отличие от моих будущих критиков зная, что это всего лишь попытка, не более. Как я могу решить на площади семилестной повести то, чего до сих пор не решила вся многовековая литература, над чем больно и тяжело бьется человеческая мысль, и само решение этого вопроса и служит поступательному движению мысли? Право же, наша критика в крайностях своих порой достигает запредельных высот!

Задача, которую я ставил, была куда скромнее — разо-

браться хотя бы в одной человеческой душе, которая была слабее того времени, в которое создалась, слабее, но не грубее.

Что, если родители «перевоспитали» своего сына, что, если он чувствовал несколько «чувствительней», чем мы, грешные, что, если романтическое начало носило в Борисе характер не внешний? Что, если просто человек устал смертельно и ему уже сама смерть кажется избавлением от этой усталости и мук? Мне хотелось несколько предупредить время и сказать, что наступят дни, не могут не на-

желтой травкой, испященная пнями спиленных лесов по косягам, исполосованная электро- и всякими другими линиями, грустно молчала под тихим гоше синеньким небом, по которому растекалась дымная муть и, словно бы не решаясь, грязнить вечную, синюю небесную печаль, отслаивалась от неба, прикидала к хребтам, оседала на них.

Чем-то древним и грустным прошибало и это промышленное «небо», и эту уральскую землю, изрытую, пустынную, из недр которой люди добывали

дей окружающих и тех, что были с нами и до нас...

Началась внутренняя и довольно мучительная работа, появлялись какие-то образы, герои, заготовки будущей повести, сюжетные ходы и выходы, сперва смутно, а потом все ясней и ясней вырисовывалось строение будущей вещи, на строении этом появлялись крыша, и труба, крылечко, окна, и в окна эти даже живые люди стали выглядывать. Я уже знал повесть «наизусть», но нет, чего-то еще не достало мне, чтобы начать ее

туманным взором, напоминающее красную, голую, ровно бы обваренную зверушку с криво завязанным крупным пушком, в середине которого насохла, запеклась твоя родительская кровь. Ой, как много еще надо сделать, чтобы из этого, чуть шевелящегося, полуслепого и беспомощного дитяти получился человек, чтоб он встал на ноги и пошел в люди...

Далекий и сложенный путь книжки к читателю, путь, чем-то похожий на человеческую судьбу, и не случайно, видеть, получилось у меня это сравнение.

Я где-то повимаю графоманов и не удивляюсь их упорству в труде — они ведь тоже переживают радость творчества, восторг ожидания, а что получается дитя уродливое, порой без глаз и носа, это уж дело шестнадцатое — свое дитя прекрасней всех, так же как и «моя мама всех красивше».

Черновик повести я написал за три дня. Я не говорю о голове и сердце, в каком они были состоянии, могу сказать, что даже рука у меня занемела в кисти и на пальце получилась мозоль от ручки.

«Так писать нельзя!» — говорили мне добрые люди. И я сам знаю, что нельзя, но иначе не умею. Слоняюсь месяцами, ничего не делаю, убеждаю себя научиться работать и отдыхать планомерно, однако как дело доходит до работы, — все полетело вверх тормашками: и сон, и покой, и добрые намерения.

В общем-то, все работают по-разному. «Всяк дурак по-своему с ума сходит», — вот и все, что я могу сказать о работе писателей, которых я знаю. Вижу и знаю теперь, проработав в литературе почти тридцать лет, что учить писать — занятие бесполезное, это ничего не дает. Каждый добывает свой опыт самостоятельно. У всех ведь свой характер и темперамент, дурость — и та своя! И от нее, от дурости-то, да еще от многих, непонятных вещей и происходит то, что на-

зывают уважительно «тайной творчества», и, не боясь повторений, добавлю: тайна творчества так же не проста и дает такое же редкое счастье, как тайна рождения человека.

Разрешившись черновиком в сто двадцать страниц, совершенно обалделый и счастливый, я оглянулся вокруг и обнаружил, что нахожусь в деревне Быковке, в своей избе, которую думающие обо мне хорошо городские знакомые именovali дачей, что в избе этой давно не топлено, что на часах десять утра и, значит, последнюю ночь я все же не ложился спать (нехорошо, жена ругаться будет), но ее, жены, слава богу, нет, и я один, и что хочу, то и делаю. «Грр-оми захватчиков, рры-бят-а-а!» — зарорал я первое попавшееся в голову и стал затапливать печку.

Дрова сухие, березовые, печка железная, колено трубы вставлено в растрепанную русскую печку — гудит сооружение огнем, потрескивает, и в избе веселей и теплей делается.

И тут я услышал громкие рыдания во дворе — в порыве творчества забытый мной пес, мой Спирька ревел на всю деревню, запертый под крыльцом. Я побежал во двор и услышал, как Спирька бьется в своей каюте, которую чаще зовут, как отец мой, «просоленный моряк», губвахтой.

Я отворил дверцу, и, чуть не сбив меня с ног, выпущенный с «губвахты» Спирька бросился на меня и от радости и счастья поцарапал мне когтями брюхо.

Я был довольный и счастливый, заголил рубашку и спросил: «Что ты, зверь, делаешь?» Спирька лизнул меня в брюхо своим горячим сиреневым язычком и впереди меня ворвался в дом и загремел тарелкой, в которой я приготовил ему еду, но забыл вынести.

А потом я повез повесть в Москву, показать ныне уже покойному другу.

ВОЛОГДА

Виктор АСТАФЬЕВ: ПРО ТО, О ЧЕМ НЕ ПИШУТ В КНИГАХ

ступить, когда образование, культура приведут, не могут не привести человека к противоречиям с той действительностью, когда люди убивают людей. Не моя и не героя повести вина, а беда, коли действительность, бытие войны раздавили его. Быть может, замысел опередил события и времена, но это уже право автора — распорядиться замыслом. Хотя бы им...

Все началось, помнится, так. Я работал на областном пермском радио корреспондентом по Горнозаводскому направлению и однажды, еду в город Кизел — центр угольного бассейна, совершенно для себя неожиданно проспал свою остановку и с испугу вышел на каком-то глухом разъезде с пачкой сигарет и книгой «Манон Леско» в кармане. Забравшись на гору, я целый день читал эту книгу и курил. Был осенний солнечный день, вдали меланхолично дымилась копра, тихая гористая земля, ископанная, исковырянная человеком, подрытая, подернутая

уголь, руду и всякую всячину, необходимую для того, чтобы крутить колеса заводов и машин, строить и сносить, садить и рубить, и поскольку самого человека нигде на этом унылом разъезде видно не было, а сердце ныло от только что прочитанной книги, поведавшей о страдальческой и прекрасной любви кавалера Де Грие и ветреной Манон, ветренность которой, впрочем, не была оскорбительна, отталкивающая, а наоборот, даже манящая, то и возникла во мне тоска по человеку чувства, что ли. «Неужели мы разучились любить и страдать так же возвышенно, чисто, «до смерти», как в те давние годы любил вот эти двое, скорее всего выдуманные аббатом Прево?» — такой или примерно такой вопрос я задавал себе тогда, а писатель, да еще молодой, задавши себе вопрос, немедленно захочет на него получить ответ. А так как вопрос-то возник «вечный», то и ответа на него не было, надо было искать его в жизни лю-

«выкладывать на бумагу», какого-то внешнего толчка или внутренней потребности садиться и писать именно эту, а не другую вещь. Еще ее невозможно было не писать. Так как писать вообще трудно, а трудности этой работы виделись заранее, то я оттягивал, отдалял, как мог, так называемые «муки творчества», которые, увы, существуют на самом деле, а не только в воображении ироничных сатириков и веселых юмористов.

Действительно, эту маленькую повесть я носил в себе 14 лет.

А потом однажды сел и написал ее черновик.

Славно и сильно работает, когда вещь выношена до мелочей, когда она измучила тебя и озлила до того, что, освобождаясь от нее, ты чувствуешь облегчение от гнета, ощущаешь в себе светлую пустоту и свободу и, как мать, дивуешься на малое, беспомощное дитя, чуть питающее беззубым ртом, глядящее бессмысленным,